

Sto
Moe

Евгений Ухналев
Это мое



издательство **АСТ**
Москва

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
У89

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Ухналев, Евгений

У89 Это мое / Евгений Ухналев. — Москва : АСТ : CORPUS, 2013. — 256 с.

ISBN 978-5-17-077264-3 (ООО “Издательство АСТ”)

Народный художник России, бывший главный архитектор Государственного Эрмитажа, член Геральдического совета при Президенте РФ, художник-нонконформист, в сталинские годы прошедший через Воркуту, — все это Евгений Ухналев, один из наиболее значительных российских художников конца XX века. Его книга мемуаров “Это мое” — не просто воспоминания, но точный портрет времени. “Меня всегда мучает досада: когда человек умирает, с ним умирают все его эмоции, воспоминания, реакции, — пишет Ухналев. — Возможно, эта книга — попытка сохранить эмоции. Во всяком случае, насколько это возможно”.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-077264-3 (ООО “Издательство АСТ”)

- © Е. Ухналев, 2013
- © Е. Коган, 2013
- © А. Бондаренко, художественное оформление, 2013
- © ООО “Издательство АСТ”, 2013
Издательство CORPUS ®

Содержание

Повезло. *Вместо предисловия*.7

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. **Детство**

Дедушка и бабушка	13
Детство	16
Отец	21
Братья.	23
Рисунки	25
Война	27
Путь в эвакуацию	34
Вереи	37
Свердловск	44
Возвращение	48
Война кончилась	51
СХШ	54
Значки	61
Арест	64
Следствие	71
Суд	77

Крестик	80
По этапу	82

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Воркута

Выбор профессии	91
Шахта Капитальная	102
Пересмотр дела	108
Возвращение на шахту	122
Три с половиной побега	139
Случаи	142
40-я	145
Смерть Сталина	147
Освобождение	153
Люди	160

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Ленинград

С нуля	169
Натусик	175
Реабилитация	178
Эрмитаж	180
Художник	198
Башня	211
За бугром	213
Геральдика	219
Возвращение в Эрмитаж	229
Борька Рабинович	231
Шедевры	233
Ленинград	244
Туман	250
Это мое	253

Повезло

Вместо предисловия

Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.

Песня 1930-х годов

Я подсчитал, что в жизни я, пожалуй, го-
лодал примерно одиннадцать лет подряд.

Евгений Ухналев

Сейчас их остались единицы, тех, кто на собственной шкуре прочувствовал мудрость вождя всех народов, кто пережил ночные допросы, этапы, кто стоял на ледяном ветру на разводах, кто не умер от истощения на лесоповалах великих строек. Их были сотни тысяч, миллионы граждан, ставших вдруг шпионами всех разведок, троцкистами, правыми и левыми уклонистами, диверсантами, вредителями и вообще врагами народа, как будто они сами не есть народ. Магадан, Воркута, Дальлаг, Экибастуз, Беломоро-Балтийск — это горные вершины, это миллионники, крупнейшие центры по превращению людей в лагерную пыль. Были и сотни других, не столь знаменитых и даже совсем секретных, но не менее эффективных

и зловещих. Ни одна труба не дымила без участия эков, ни один канал, ни один завод, ни один котлован, ни одна шпала не обходились без их рабского труда. Представьте себе, что в гигантском бюджете Министерства внутренних дел отдельной строкой были выделены расходы на производство сотен километров колючей проволоки — “Специнвентаря для охраны объектов внутреннего подчинения”, и сотни цехов по всей стране в три смены гнали эту продукцию, а спрос каждый год превышал технологические возможности. “От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей... Всюду жизнь привольно и широко, точно Волга полная, течет, молодым везде у нас дорога...”

Вот и выпала третьего ноября 1948 года эта дорога семнадцатилетнему ленинградскому мальчику Жене Ухналеву. В тот вечер он возвращался домой к маме и бабушке на трамвае с Выборгской стороны от родственницы. Но Аннушка уже пролила масло, уже был написан, отправлен (куда следует) и прочитан (кем надо) донос. Машина заработала. Последовало распоряжение, появилась папка, были выделены люди, знаменитая 58-я статья готовилась проглотить еще одну человеческую жизнь. В общем, возникло “дело”. На углу улицы Марата и Кузнечного переулка Женя вышел из трамвая. До дома рукой подать, и тут он заметил военный патруль. Патрули в городе тогда были делом обычным, но этот ждал именно его. Подошли, попросили представиться, офицер удовлетворенно шелкнул пальцем, и в ту же минуту сдвинулась с места припаркованная неподалеку “эмка”. В ней уже сидели настоящие чекисты. В этот вечер Женя Ухналев домой не попал, а оказался в Большом доме, во внутренней тюрьме НКВД, куда его завезли с улицы Каляева (ныне Захарьевской). Железные ворота открылись и закрылись, прежняя жизнь закончилась.

Можно только представить, что пережила в ту ночь его мать. И таких матерей, отцов, братьев и сестер по всей стране было не перечесть. Очень скоро Женя узнал, что занимался антисоветской пропагандой, пытался готовить теракт, планировал совершить диверсии, хранил оружие — и не один, а в сговоре с целой бандой преступников. За такое полагалась высшая мера! Но ему повезло: в связи с отменой смертной казни (нужны были руки, страна была обескровлена) он получил 25 (!) лет лагерей. Тоже, конечно, смерть, но растянутая на годы.

И вот первый этап. Не “этапы большого пути”, а сталинские лагерные этапы с конвоем и беснующимися овчарками, с матом и ночной погрузкой в товарняк, с дикой теснотой и вшами, с оправкой в туалетах, от которых может вырвать уже на подходе. И так, медленно, по неделям, но неуклонно на север, в глубь страны, в прекрасную Воркуту.

Но жизнь, конечно, богаче наших представлений о ней. Была она и там, в лагерях и на зонах. И везение, и счастливые дни тоже бывали, как у Ивана Денисовича, например. Спасителем юного зэка оказался земляк из Ленинграда, как говорил сам Ухналев, “громادного роста дядька, начальник механических мастерских 6-й шахты Иван Шпак, тоже заключенный, но с возможностями”. В забой Ухналева уже не посылали, и началась его лагерная “карьеря” на поверхности. Дневальный в клубе, ассенизатор, кочегар в котельной, художник, чертежник. Потом тяжелейший плеврит, почти чахотка и лагерная больница. Его скромные, маленькие, на пожелтевшей бумаге рисунки того времени сохранились и очень хороши. На них деревянные технические строения с наклонными галереями, как над любой шахтой, вполне обычные, нестрашные, но почему они вызывают такую тоску? И смотреть тяжело,

и не смотреть невозможно. Ничего нет, а время читается мгновенно. Страшное время.

В 1953-м умер Отец Народов. В 1954-м расстреляли Берию и еще полсотни его генералов. В воздухе запахло другими порядками, но миллионы продолжали сидеть. И опять повезло. Женя Ухналев вышел одним из первых. Под пересмотр попали дела несовершеннолетних, отбывших больше половины срока (до этого срок скостили до десяти лет). Прошло шесть лет, и он вернулся живым в Ленинград к маме, а не на сто первый километр. Так что по звериным меркам этой страны ничего страшного не произошло. Шесть лет украденной жизни — ерунда, пустяк. Дальше была другая, долгая жизнь, и она, слава Богу, продолжается. О ней спокойно, уже исчезающим человеческим языком, с точными деталями, от которых появляется почти стереоскопическое изображение, рассказывают он сам и его работы.

Мы живем в другой стране. Даже тысячелетие и то новое. Но кажется, что снова становится душновато. Чем-то потянуло почти забытым, нашим, советским, неискоренимым. Я вот не могу отделаться от мысли, что недавно принятый закон “о государственной измене” что-то мне очень напоминает... Но я, наверное, не прав, надо будет у Ухналева спросить, он из последних настоящих знатоков. Жизнь научила.

Анатолий Белкин
2012 год, Санкт-Петербург

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Детство

Дедушка и бабушка

Я родился в Ленинграде 4 сентября очень далекого 1931 года... Раньше были такие времена, когда мне было как-то стыдно говорить о возрасте, потому что я был моложе всех и все снисходительно улыбались: “Ха-ха”. А теперь, получается, все наоборот...

Короче говоря, 1931 год. Родился я на Кузнечном, в доме, который и сейчас еще существует, напротив рынка, — красивый особнячок в стиле ампир, вот там как раз и был роддом. И меня, естественно, очень быстро перенесли на улицу Марата, дом 31, где мы жили все довоенное время, да и после войны тоже. Это была дедовская квартира, и дед еще был жив, и бабушка. Моя любимая бабушка вообще прожила очень-очень долго, и всю жизнь она была рядом со мной. Ее звали Мария Ерофеевна. А дед, Алексей Васильевич, умер перед самой войной, в 1939 году. Я очень хорошо помню деда. Он всю жизнь был бухгалтером, много работал дома. До революции не было главных бухгалтеров, старших и так далее, так что он ни много ни мало был бухгалтером губернской земской управы, довольно приличная чиновни-

чья должность. Губернская земская управа помещалась в том доме, где сейчас находится 37-я поликлиника, на улице, которая сейчас называется улицей Правды, а раньше была Кабинетской.

Дед с бабушкой сначала жили в селе Медведь, это было такое большое село на Псковщине, оно и сейчас есть. Мой сын Андрюшка некоторое время назад заезжал туда и рассказывал, что там многое сохранилось. Конечно, многое изменилось, потому что было разрушено войной и временем, но облик сохранился почти без изменений. В этом селе раньше, до революции, жило очень много евреев, такое было своеобразное местечко, где жила бабушка. И вот дед с ней однажды познакомился. Там была настоящая драма: он уже был женат, у него уже была дочь, он их бросил, сошелся с бабушкой, был практически проклят своими родителями, потому что они были ортодоксальные православные, а бабушка, естественно, была отвергнута своей еврейской родней.

В 1911 году, когда начались все эти семейные перипетии, они приехали в Петербург и поселились на Боровой улице. Но, к сожалению, мы все немножко идиоты и не обращаем внимания, не запоминаем, даже не интересуемся такими вот деталями. До недавних пор можно было многое выяснить, просто задав бабушке вопрос, но я его не задал. Так и не знаю, где именно на Боровой они жили. Зато я знаю одну забавную деталь. Бабушка с дедушкой сдавали одну из комнат своей квартиры на Боровой некоему студенту по фамилии Скрябин и по имени Вячеслав. Он жил в этой комнате со своей сестрой... Я не могу ручаться за абсолютную точность, но вспоминаю именно так. Точно знаю только, что он играл много на скрипке, и моя мама, будучи еще совсем маленькой девочкой, приходила, садилась в открытых дверях, на пороге, и слушала. А потом этот студент

съехал, сменил фамилию и через пару десятилетий стал главой советского правительства Вячеславом Михайловичем Молотовым. А еще раньше мои бабушка с дедушкой переехали на Марата, 31.

Могу сказать, что дед никогда не любил Советскую власть, но не был ее врагом, он просто ее не воспринимал и не скрывал этого. Бабушка была мудрее всех — она молчала, когда было нужно. Но она тоже не принимала большевиков, потому что прекрасно помнила старые времена. А мама была а-ля коммунистка. Она была из тех натур... такая отрывка старых времен. Очень доверчивая, наивная. Если напечатано — значит, это истина.

Детство

Довольно сложно вспоминать свое детство, особенно хронологически, когда тебе за восемьдесят. Я почти ничего не помню, даже зрительно... Я был болезненным ребенком, к тому же время было очень тяжелое, голодное. Помню, что до войны было голодно, да и после всегда было довольно голодно. Однажды я очень тяжело заболел, и меня отнесли к очень известному по тем временам доктору Гржебовскому. Мне рассказывали, как меня положили на стол, развернули, и доктор, не дотрагиваясь, брезгливо осмотрел меня и сказал: “Кормите овсянкой”. И, судя по всему, это были верные меры.

Меня начали кормить овсянкой. Для того чтобы ее достать, из дома приходилось выносить очень многое и нести в Торгсин. Очевидно, благодаря должностям, которые занимал дед, в доме что-то было. У нас была средняя семья, но по-хорошему средняя, без всяких пролетарских заморочек, так что было что выносить. И я выжил.

Одно из первых моих детских воспоминаний относится к 1934 году, мне тогда было три. Я зрительно помню,

что отец нес меня на руках через Аничков мост, как всегда, вокруг была серо-черная толпа. И со стороны Невы на фоне серого неба вдруг стали видны красные всполохи — проектора. Я спросил — папа, что это? Он сказал — это Кирова убили. Или, например, в ноябре 1937 года мы шли с отцом через Дворцовую площадь, было так же серо и холодно, в этом городе всегда холодно. На здании Главного штаба висели большие, в полтора этажа, портреты. Я спросил — кто это? Отец ответил — это товарищ Ежов.

Помню, мне было года четыре, и меня повели фотографироваться. На Невском проспекте, где сейчас находится фешенебельный “Невский Палас”. А раньше не было никаких офисов, в каждом окне, в каждом полуокне жили люди, и в подвалах, и на чердаках. Так вот, в том доме справа были вход и лестница на второй этаж, где располагалась “Фотография”. Сейчас этой двери уже нет. И меня привели туда фотографироваться. Родители о чем-то договаривались с фотографом, потом хватились — а меня нет! Куда делся? Открыли дверь и видят: по этой длинной лестнице, которая идет между первым и вторым этажом одним пролетом, я на четвереньках, попкой вперед спускаюсь, сбегая, весь в слезах. Так не хотел фотографироваться. Но меня вернули, конечно, и сфотографировали. Стою, какой-то совочек держу в руке.

А одно из самых ранних разочарований в моей жизни было таким. Когда-то на Стремянной был дом, в котором располагалась международная телефонная станция, единственная в городе. А на первом этаже была булочная. Когда бабушка ходила по магазинам, она всегда брала меня с собой — гулять. И мы почему-то всегда заходили в эту булочную, где бабушка покупала мне меренги. И еще мы там покупали хлеб — или кирпичик, или круглый, от которого бабушка всегда отщипывала вкуснейшую хрустящую короч-

ку и отдавала мне. И вот в один прекрасный день она оторвала мне эту корку, и я почувствовал, что вкус не тот — зачем-то они там изменили рецептуру. Глупость, конечно, но это было одним из моих главных детских разочарований.

В 1937 году, когда мне исполнилось шесть, мама была мобилизована, и ее отправили в штаб Республиканской армии Испании. Мама к этому времени окончила множество всяческих учебных заведений — и музыкальное, и Академию художеств, которая называлась ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт), — и успела поработать по специальности, то есть художницей, на фабрике Урицкого, даже принимала участие в разработке какого-то рисунка для пачки сигарет, кажется, для “Казбека”. Но в результате взяли не ее рисунок, а Бенуа — тот самый черный всадник на фоне горы. С Бенуа было сложно соперничать — авторитет, профессионал.

Мама, кроме всего прочего, окончила курсы иностранных языков в институте имени Герцена. И ее вместе с еще одиннадцатью знающими испанский язык девушками послали в Испанию. Маме тогда было 30 лет. И вот примерно с этого момента я себя более или менее помню. Я помню, как мы с бабушкой провожали маму на Московском вокзале — она отправлялась через Москву. Я даже помню погоду в тот день. Для меня вообще это очень важно, всю жизнь, всегда я запоминал не только зрительные образы, но и погоду. Был, как сейчас помню, какой-то сизый, морозный вечерний полусумрак. Из-за этого сизого мороза у меня осталось ощущение, что на платформе мы находились одни, хотя, конечно, этого не могло быть. Вообще в те времена события типа отъезда моей мамы воспринимались со знаком “наоборот” — это скрывалось, причем скрывалось от всех. И я даже не уверен, что сам знал об Испании, — во всяком

случае, я этого не помню. Сначала я знал, что мама поехала в Москву, и на вокзале мы провожали ее как раз в Москву. Думаю, что про Испанию я узнал где-то через год и совершенно никак не отреагировал на эту новость — ну и что? Я был еще слишком маленький, и мы тогда, если говорить о детях, были другими — более зелеными, мы были травой. А взрослые стремились о таких вещах разговаривать очень сдержанно и только в кругу семьи. Фоном жизни тогда был страх, вернее, не страх, а дисциплина мышления. Зато я помню, что мама приехала, когда я пошел в первый класс — а мы тогда ходили в школу с восьми, а не с семи лет, — и на мне появились свитера “оттуда”. Что-то удивительное, невиданное, невообразимое! И учительница Марья Ивановна, спросив, откуда у меня такой свитер, и услышав ответ, что его мне привезла мама, с полусмехом сказала: “Ой, я тоже такой хочу”.

У меня остались странные воспоминания о детстве и о Ленинграде того времени. У меня осталось ощущение, что город в те годы как бы делился на две части. Вот нормальный город, где жили и работали нормальные люди. И другой город, наличие которого всеми ощущалось на подсознательном уровне. Он начинался от Лиговки, где жила всякая чернь. Сейчас этого разделения нет, сейчас все перемешалось, влилось одно в другое. Сейчас многие из тех, которые, по логике вещей, должны бы быть приличными, наполовину стали чернью. Чернь и нищие на улице сейчас одеты приличнее средних, обычных людей. А тогда все было иначе...

Мы жили в коммуналке, отдельных квартир тогда были единицы. Те, кто жил в отдельных квартирах, по должности были как бы кандидатами на расстрел. То есть у деда с бабушкой имелась небольшая старая трехкомнатная квартира с кухней и коридором, которую они первоначально на-

няли у домовладельца, но потом, после революции, когда началась вся эта чехарда с подселениями, квартира отошла им. И так получилось, что наших комнат в ней осталось только две, зато большие, 24 и 26 метров. Была еще одна, 12-метровая, мамина, и туда стали все время кого-то подселять. Помню, в ней жил какой-то чекист, один, без семьи. Потом пропал куда-то. Потом там жила какая-то Евгения Григорьевна. Такая невысокая, очень немолодая женщина, не помню, кем она работала. Я ее по-детски звал Виготка. Кажется, она умерла во время блокады. В общем, наша квартира была не совсем коммунальной, но там все время кто-то жил, кроме нас. При этом мы, словно по инерции, оставались ее хозяевами. И еще я помню, что бабушка никогда не работала, а всегда занималась домом и была абсолютной хозяйкой кухни.

Еще мы снимали дачу в Прибытково, но про нашу дачную жизнь я совсем ничего не помню.

Зато я помню двор. Я очень много времени проводил во дворе. Тогда никто не боялся за своих чад — во дворе все бегали, целыми днями там пропадали, пока из окна, из форточки не позовут, например, ужинать. Двор был спокойный, а самой популярной игрой была, естественно, игра в войну. Все всегда жили в каком-то ожидании войны, ведь со всех сторон наступал империализм.

У нас во дворе были два брата, прирожденные уголовники. Они или все время сидели, или к ним приходила милиция. С самого раннего детства и дальше, по мере их взросления. Нас они не обижали, мы вообще их не интересовали, у них были какие-то свои дела. Но вообще уголовники были в каждом дворе, обязательно. И при этом парадоксальным образом было спокойно. Своих не трогали.